

ЛИТЕРАТУРА НА ДВУХ ЯЗЫКАХ \* LITERATUR IN ZWEI SPRACHEN

Johann Wolfgang von  
G O E T H E  
Иоганн Вольфганг фон ГЁТЕ

ERLKÖNIG

ЛЕСНОЙ ЦАРЬ

*(в переводе Василия Жуковского)*

с приложением статьи

*Марины Цветаевой «Два 'Лесных царя'»*



IM WERDEN VERLAG  
МОСКВА - AUGSBURG 2003

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?  
Es ist der Vater mit seinem Kind;  
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,  
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? –  
Siehst Vater, du den Erlkönig nicht?  
Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? –  
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. –

»Du liebes Kind, komm, geh mit mir!  
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir;  
Manch bunte Blumen sind an dem Strand,  
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.«

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,  
Was Erlenkönig mir leise verspricht? –  
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;  
In dürren Blättern säuselt der Wind. –

»Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?  
Meine Töchter sollen dich warten schön;  
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn  
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.«

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort  
Erlkönigs Töchter am düstern Ort? –  
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau:  
Es scheinen die alten Weiden so grau. –

»Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;  
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.«  
Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!  
Erlkönig hat mir ein Leids getan! –

Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,  
Er hält in den Armen das ächzende Kind,  
Erreicht den Hof mit Mühe und Not;  
In seinen Armen das Kind war tot.

*1780-1782*

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?  
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.  
К отцу, весь издрогнув, малютка приник;  
Обняв, его держит и греет старик.

«Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?» —  
«Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:  
Он в темной короне, с густой бородой». —  
«О нет, то белеет туман над водой».

«Дитя, оглянися; младенец, ко мне;  
Веселого много в моей стороне:  
Цветы бирюзовы, жемчужны струи;  
Из золота слиты чертоги мои».

«Родимый, лесной царь со мной говорит:  
Он золото, перлы и радость сулит». —  
«О нет, мой младенец, ослышался ты:  
То ветер, проснувшись, колыхнул листы».

«Ко мне, мой младенец; в дуброве моей  
Узнаешь прекрасных моих дочерей:  
При месяце будут играть и летать,  
Играя, летая, тебя усыплять».

«Родимый, лесной царь созвал дочерей:  
Мне, вижу, кивают из темных ветвей». —  
«О нет, все спокойно в ночной глубине:  
То ветлы седые стоят в стороне».

«Дитя, я пленился твоей красотой:  
Неволей иль волей, а будешь ты мой». —  
«Родимый, лесной царь нас хочет догнать;  
Уж вот он: мне душно, мне тяжело дышать».

Ездок оробелый не скачет, летит;  
Младенец тоскует, младенец кричит;  
Ездок погоняет, ездок досакал...  
В руках его мертвый младенец лежал.

1818

## Два «Лесных царя»

Дословный перевод «Лесного царя» Гёте.

Кто так поздно скачет сквозь ветер и ночь? Это отец с ребенком. Он крепко прижал к себе мальчика, ребенку у отца покойно, ребенку у отца тепло. «Мой сын, что ты так робко прячешь лицо?» — «Отец, ты не видишь Лесного Царя? Лесного Царя в короне и с хвостом?» — «Мой сын, это полоса тумана!» — «Милое дитя, иди ко мне, иди со мной! Я буду играть с тобой в чудные игры. На побережье моем — много пестрых цветов, у моей матери — много золотых одежд!» — «Отец, отец, неужели ты не слышишь, что Лесной Царь мне шепотом обещает?» — «Успокойся, мой сын, не бойся, мой сын, в сухой листве — ветер шуршит». — «Хочешь, нежный мальчик, идти со мной? Мои дочери чудно тебя будут нянчить, мои дочери ведут ночной хоровод, — убаюкают, *упляшут, упоют* тебя». — «Отец, отец, неужели ты не видишь — там, в этой мрачной тьме, Лесного Царя дочерей?» — «Мой сын, мой сын, я в точности вижу: то старые ивы так серо светятся...» — «Я люблю тебя, меня уязвляет твоя красота! Не хочешь охотой — силой возьму!» — «Отец, отец, вот он меня схватил! Лесной Царь мне сделал больно!» Отцу жутко, он быстро скачет, он держит в объятьях стонущее дитя, доскакал до двора с трудом, через силу — ребенок в его руках был мертв.

Знаю, что неблагоприятная задача после гениального и вольного поэтического перевода давать дословный прозаический подневольный, но это мне для моей нынешней задачи необходимо.

Остановимся сначала на непереводаемых словах, следовательно — непередаваемых понятиях. Их целый ряд. Начнем с первого: хвост. Хвост по-немецки и Schwanz, и Schweif; например, у собаки Schwanz, и Schweif — у льва, у дьявола, у кометы — и у Лесного Царя. Поэтому моим «хвостатым» и с «хвостом» хвост Лесного Царя принижен, унижен. Второе слово — fein, переведенное у меня «нежный», и плохо переведенное, ибо оно прежде всего означает высокое качество: избранность, неподдельность, изящество, благородство, благородность вещи или человека. Здесь оно и благородный, и знатный, и нежный, и редкостный. Третье слово — глагол reizt, reizen — в первичном смысле — «раздражать», «возбуждать», «вызывать на», «доводить до» (неизменно дурного: гнева, беды и т. д.). И только во вторичном — «очаровывать». Слово, здесь, ни полностью, ни в первичном смысле не переводимое. Ближе остальных по корню будет: «Я раздражен (раздражен) твоей красотой», по смыслу: уязвлен. Четвертое в этой же строке — Gestalt — «фигура», «телосложение», «внешний вид», «форма». Обличье, распространенное на всего человека. То, как человек внешне явлен. Пятое — scheinen, по-немецки: и «казаться», и «светиться», и «мерцать», и «мерещиться». Шестое непереводаемое — «Leids». «Мне сделал больно» меньше, чем «Leids gethan», одинаково и одновременно означающее и боль, и вред, и порчу, в данном гётевском случае непоправимую порчу — смерть.

Перечислив все, чего не мог или только с большим, а может быть, и неоправданным трудом мог бы передать Жуковский, обратимся к тому, что он самовольно (поскольку это слово в стихах применимо) заменил. Уже с первой строфы мы видим то, чего у Гёте не видим: ездок дан стариком, ребенок издрогшим, до первого видения Лесного Царя — уже издрогшим, что сразу наводит нас на мысль, что сам Лесной Царь бред, чего нет у Гёте, у которого ребенок дрожит от достоверности Лесного Царя. (Увидел оттого, что дрожит — задрожал оттого, что увидел.) Так же изменен и жест отца, у Гёте ребенка держащего крепко и в тепле, у Жуковского

согревающего его в ответ на дрожь. Поэтому пропадает и удивление отца: «Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?» — удивление, оправданное и усиленное у Гёте прекрасным самочувствием ребенка *до* видения. Вторая строфа видоизменена в каждой строке. Первое видение Лесного Царя, из уст ребенка, описательно: «Родимый! Лесной Царь в глаза мне сверкнул!» — тогда как у Гёте («Разве ты не видишь Лесного Царя?») — императивно, гипнотично, — ребенок не может себе представить, чтобы этого можно было не видеть, внушает Царя отцу. Вся разница между: «Вижу» и «Неужто ты не видишь?». Обратимся к самому видению. У Жуковского мы видим старика, величественного, «в темной короне, с густой бородой», вроде *омраченного* Царя-Саула очами пастуха Давида. Нам от него, как от всякой царственности, вопреки всему все-таки спокойно. У Гёте — неопределенное — неопределимое! — неизвестно какого возраста, без возраста, существо, сплошь из львиного хвоста и короны, — демона, хвостатости которого вплотную соответствуют «полоса» («лоскут», «отрезок» «обрывок», Streif) тумана, равно как бороде Жуковского вообще-туман над вообще-водой.

Каковы же соблазны, коими прельщает Лесной Царь ребенка? Скажем сразу, что гётевский Лесной Царь детское сердце — лучше знал. Чудесные игры, в которые он будет с ребенком играть — заманчивее неопределенного «веселого много в моей стороне», равно как и золотая одежда, в которую его нарядит его, Лесного Царя, мать, — соблазнительнее холодных золотых чертогов. Еще более расходятся четвертые строфы. Перечисление ребенком соблазнов Лесного Царя (да и каких соблазнов, — «золото, перлы, радость...». Точно паша — турчанке...) несравненно менее волнует нас, чем только упоминание, указание, умолчание о них ребенком: «Отец, отец, неужели ты не слышишь, что Лесной Царь мне тихонько обещает?» И это что, усиленное тихостью обещания, неназванностью обещаемого, разыгрывается в нас видениями такой силы, жути и блаженства, какие и не снились идиллическому автору «перлов и струй». Таковы же ответы отцов: безмятежный у Жуковского — «О нет, мой младенец, ослышался ты, — то ветер, проснувшись, колыхнул листья». И насмерть испуганный, пугающий — Гёте: «Успокойся, дитя! Не бойся, дитя! В сухой листве — ветер шуршит». Ответ, каждым словом бьющий тревогу — сердца. Ответ, одним словом дающий нам время года, столь же важное и неизбежное здесь, как час суток, богатейшее возможностями и невозможностями — из всех его времен.

Мы подошли к самой вершине соблазна и баллады, к месту, где Лесной Царь, неистовство обуздав, находит интонации глубже, чем отцовские-материнские, проводит нас через всю шкалу женского воздействия, всю гамму женской интонации: от женской вкрадчивости до материнской нежности; мы подошли к строфе, которая, помимо смысла, уже одним своим звучанием есть колыбельная. И опять-таки, насколько гётевский «Лесной царь» интимнее и подробнее Жуковского, хотя бы уж одно старинное и простонародное *warten* (нянчить, большинством русских читателей переводимое — ждать), у Жуковского совсем опущенное, замененное: «узнаешь прекрасных моих дочерей»; у Жуковского — прекрасных, у Гёте — просто дочерей, ибо его, гётевский, Лесной Царь ни о чьей прекрасности, кроме мальчиковой, сейчас не может помнить. У Жуковского прекрасные *дочери*, у Гёте — дочери прекрасно будут *нянчить*.

И снова, уже бывшее, у Жуковского — пересказ видения, у Гёте — оно само: «Родимый, Лесной Царь созвал дочерей! Мне, вижу, кивают из темных ветвей...» (Хотя бы «видишь?») — и: «Отец, отец, неужто ты не видишь — там, в этой страшной тьме, Лесного Царя дочерей?» Интонация, в которой мы узнаем собственное нетерпение, когда мы видим, а другой — не видит. И такие разные, такие соответственные вопросам ответы: олимпийский — Жуковского: «О нет, все спокойно в ночной глубине. То ветлы седые стоят в стороне», — ответ даже ивовых взмахов, то есть иллюзии видимости не дающий! И потрясенный, сердцебиенный ответ Гёте: «Мой сын, мой сын, я в точности вижу...» — ответ человека, умоляющего, заклинающего другого поверить, чтобы поверить самому, этой точностью видимых ив еще более убеждающего нас в обратном видении.

И, наконец, конец — взрыв, открытые карты, сорванная маска, угрозы, ультиматум: «Я люблю тебя! Меня уязвила твоя красота! Не хочешь охотой — силой возьму!» И жуковское

пассивное: «Дитя! Я пленился твоей красотой!» — точно избалованный паша рабыне, паша, сам взятый в плен, тот самый паша бирюзового и жемчужного посула. Или семидесятилетний Гёте, от созерцания римских гравюр переходящий к созерцанию пятнадцатилетней девушки. Повествовательно, созерцательно, живописующе — как на живопись... И даже гениальная передача — формула — последующей строки: «Неволей иль волей, а будешь ты мой!» — слабее гётевского: «Не хочешь охотой — силой возьму!» — как сама форма «будешь мною взят» меньше берет — чем «возьму», ослабляет и отдаляет захват — руки Лесного Царя, уже хватающей, и от которой до детского крика «больно» меньше, чем шаг, меньше, чем скок коня. У Жуковского этого крика нет: «Родимый! Лесной Царь нас хочет догнать! Уж вот он, мне душно, мне тяжело дышать». У Гёте между криком Лесного Царя — «силой возьму!» — и криком ребенка — «мне больно!» — ничего, кроме дважды повторенного: «Отец, отец», — и самого задыхания захвата, у Жуковского же — все отстояние намерения. У Жуковского Лесной Царь на загровке.

И — послесловие (ибо вещь кончается здесь), то, что мы все уже, с первой строки второй строфы уже, знали — смерть, единственное почти дословно у Жуковского совпадающее, ибо динамика вещи уже позади. Повторяю: неблагоприятная задача сопоставлять мой придирчивый дословный ритмический внехудожественный перевод с гениальной вольной передачей Жуковского. Хорошие стихи всегда лучше прозы — даже лучшей, и преимущество Жуковского надо мной слишком очевидно. Но я не прозу со стихами сравнивала, а точный текст подлинника с точным текстом перевода: «Лесного царя» Гёте с «Лесным царем» Жуковского.

И вот выводы.

Вещи равновелики. Лучше перевести «Лесного царя», чем это сделал Жуковский, — нельзя. И не должно пытаться. За столетие давности это уже не перевод, а подлинник. Это просто другой «Лесной царь». Русский «Лесной царь» — из хрестоматии и страшных детских снов.

Вещи равновелики. И совершенно разны. Два «Лесных царя».

Но не только два «Лесных царя» — и два Лесных Царя: безвозрастный жгучий демон и величественный старик, но не только Лесных Царя — два, и отца — два: молодой ездок и, опять-таки, старик (у Жуковского два старика, у Гёте — ни одного), сохранено только единство ребенка.

Две вариации на одну тему, два видения одной вещи, два свидетельства одного видения.

Каждый вещь увидел из собственных глаз.

Гёте, из черноты своих огненных — *увидел*, и мы с ним. Наше чувство за сновиденный срок Лесного Царя: как это отец не видит?

Жуковский, из глади своих карих, добрых, разумных — не увидел, не увидели и мы с ним. Поверил в туман и ивы. Наше чувство в течение «Лесного царя» — как это ребенок не видит, что это — ветлы?

У Жуковского ребенок погибает от страха.

У Гёте от Лесного Царя.

У Жуковского — просто. Ребенок испугался, отец не сумел успокоить, ребенку показалось, что его схватили (может быть, ветка хлестнула), и из-за всего этого показавшегося ребенок достоверно умер. Как тот безумец, мнивший себя стеклянным и на разубедительный толчок здравого смысла ответивший разрывом сердца и звуком: дзинь... (Подобие, далеко заводящее.)

Один только раз, в самом конце, точно усумнившись, Жуковский предает свое благоразумие одним только словом: «ездок *оробелый*»... но тут же, сам оробев, минует.

Лесной Царь Жуковского (сам Жуковский) бесконечно добрее: к ребенку добрее, — ребенку у него не больно, а только душно, к отцу добрее — горестная, но все же естественная смерть, к нам добрее — ненарушенный порядок вещей. Ибо допустить хотя бы на секунду, что Лесной Царь есть, — сместить нас со всех наших мест. Так же — прискорбный, но бывалый,

случай. И само видение добрее: старик с бородой, дедушка, «бирюзовы струи»... Даже удивляешься, чего ребенок испугался?

(Разве что темной короны, разве что силы любви?) Страшная сказка на ночь. Страшная, но сказка. Страшная сказка нестрашного дедушки. После страшной сказки все-таки можно спать.

Странная сказка совсем не дедушки. После страшной гётевской не-сказки жить нельзя — так, как жили (в тот лес! Домой!).

...Добрее, холоднее, величественнее, ирреальнее. Борода величественнее хвоста, дочери, узренные, и величественнее, и холоднее, и ирреальнее, чем дочери нянчащие, вся вещь Жуковского на пороге жизни и сна.

Видение Гёте целиком жизнь или целиком сон, все равно, как это называется, раз *одно страшнее другого*, и дело не в названии, а в захвате дыхания.

Что больше — искусство? Спорно.

Но есть вещи больше, чем искусство.

Страшнее, чем искусство.

Ноябрь 1933

### Комментарии

20 ноября 1933 г. Цветаева сообщила В. И. Муромцевой-Буниной: «... во весь опор пишу «Лесного царя» — двух «Лесных царей» — Гёте и Жуковского. Совершенно разные вещи — и каждая в отца». 24 ноября в письме к Тесковой она называет эту статью «попыткой разгадки Гёте» и пишет, что мало надеется на ее напечатание: «кто сейчас, в эмиграции, интересуется «Лесным царем» («Erlkcnig») и даже Гёте? Я, которую так долго травили за «современность» стихов — теперь вечно слышу упреки в несовременности *тем* моей прозы». И действительно, рукопись статьи, отправленная в газету «Последние новости», была Цветаевой возвращена как «интересное филологическое исследование», но для газеты неподходящее, ибо интересное лишь «для нескольких избранных читателей», о чем Цветаева с возмущением писала В. И. Муромцевой-Буниной: «Но «Лесного царя» учили — все! Даже — *двух*. «Лесному царю» уже полтора года, а волнуется, как в первый день. Но все пройдет, все пройдут, а «Лесной царь» — останется!

Мои дела — отчаянные. Я *не умею* писать, как нравится Милюкову. И Рудневу (редакторы «Последних новостей» и «Современных записок». — Л. С.). Они мне сами НЕ ПРАВЯТСЯ!».

В сопоставлении Цветаевой перевода В. А. Жуковским баллады Гёте с немецким оригиналом выражены принципы, которыми Цветаева руководствовалась в своей переводческой работе (на русский — Бодлера, Лорки, Франко, В. Пшавелы и др. в 1939-1941 гг. и с русского на французский — своей поэмы «Молодец», стихотворений Пушкина и Лермонтова — в 1934, 1936 и 1939 гг.). «Я перевожу по слуху — и по духу (вещи). Это больше, чем «смысл», — утверждала она. «Идя по следу поэта, заново прокладывая всю дорогу, которую прокладывал он... заново прокладывая дорогу по мгновенно зарастающим следам». Сама Цветаева работала над переводами не менее упорно и тщательно, чем над оригинальными произведениями. Теорию поэтического перевода она обосновывает, в частности, в следующей записи:

«Поэт (подлинник) к двум *данным* (ему Господом Богом строкам) ищет — находит — две заданные. Ищет их в арсенале возможного, направляемый роковой необходимостью рифм — тех, Господом данных, являющихся — императивом.

Переводчик к двум данным (ему поэтом) основным: поэтовым богоданным строкам — ищет — находит — две заданные, ищет в арсенале *возможного*, направляемой роковой необходимостью рифмы — к тем, первым, господом (поэтом) данных, являющихся — императивом.

Рифмы — к тем же вещам — на разных языках — разные.

Уточнение: Рифма всюду может быть заменена *физикой* (стиха). Так, например, я строку, кончающуюся *atoug* и рифмующую с *toужours*, не непременно — переведу: любовь — и кровь, но работу я найду с лучших основных строк двустипия и, дав их адекватно, то есть абсолютно — к моей, русской, их транскрипции, буду искать — уже в моем, русском, арсенале, пытаюсь дать — второй (посильный) абсолют».

...вроде *омраченного Царя-Саула очами, пастуха Давида*. — По библейскому преданию, когда к Саулу, царю израильскому, привели юного Давида, пасшего овец, последний очень понравился ему и сделался его оруженосцем... «Давид играл на гуслях, и отраднее и лучше становилось Саулу, и злой дух отступал от него» (Первая Книга Царств, гл. 16).

Комментарии Анны Саакянц